



ГОЛЛАНДСКИЙ
ДОМ
ЭНН
ПЭТЧЕТТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
СИНДБАД

ЭНН
ПЭТЧЕТТ

ГОЛЛАНДСКИЙ
ДОМ

Перевод с английского Сергея Кумыша

16+

Ann Patchett
THE DUTCH HOUSE

Copyright © Ann Patchett, 2019

Published in the Russian language by arrangement with *ICM Partners and Curtis
Brown Group Limited*

Russian Edition Copyright © Sindbad Publishers Ltd., 2021

Front cover painting © Noah Saterstrom

Перевод с английского Сергея Кумыша

Пэтчетт Э.

Голландский дом / Энн Пэтчетт ; [пер. с англ. С. Кумыша]. — М.: Синдбад, 2021.

ISBN 978-5-00131-245-1

Новый роман американской писательницы Энн Пэтчетт напоминает сказку братьев Гримм, разросшуюся до масштабов семейного эпоса. История главных героев, Дэнни Конроя и его сестры Мэйв, охватывает всю вторую половину XX века, а их судьбы оказываются роковым образом переплетены с Голландским домом — особняком на востоке Пенсильвании, когда-то принадлежавшим разорившейся династии нидерландских магнатов Ванхубейков. Сам по себе Голландский дом не населен призраками, но каждый, кто переступает его порог, в каком-то смысле становится призраком дома — куда бы он потом ни отправился, где бы впоследствии ни жил, повсюду носит с собой этот образ.

У Дэнни и Мэйв только это и есть: безвременно ушедший из жизни отец, давным-давно превратившаяся в воспоминание мать, будто бы вышедшая из ночного кошмара мачеха и зловещий фамильный особняк. А также взрослая жизнь, которая все никак не начнется: проклятие детства, печать сиротства, невозможность разорвать однажды сформировавшиеся узы. «Голландский дом» — история о победе любви над злом. Победе, замешенной на потерях и во многом неочевидной, потому что в конечном счете читателю предстоит разобраться самому, на чьей он стороне и был ли здесь злодей. И если был — то кто?

*Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая фирма «Корпус Права»
Corpus Prava*

© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. Издательство
«Синдбад», 2021

Посвящается Патрику Райану

Часть первая

Глава 1

КОГДА ОТЕЦ ВПЕРВЫЕ привел Андреа в Голландский дом, Сэнди, наша экономка, зашла в комнату моей сестры и велела нам спускаться.

— Отец хочет вас кое с кем познакомить, — сказала она.

— С кем-то с работы? — спросила Мэйв. Она была старше и обладала более обширным представлением о знакомствах.

Сэнди помедлила с ответом.

— Увидите. Где твой брат?

— На подоконнике, — сказала Мэйв.

Чтобы найти меня, Сэнди пришлось раздвинуть шторы.

— Зачем ты завешиваешься?

Я читал. «Приватность», — ответил я, хотя в свои восемь не очень понимал, что имею в виду. Мне нравилось само слово и ощущение, которое давали задернутые шторы, — будто в коробке сидишь.

Личность гостя была загадкой. Друзей у отца не было — во всяком случае, таких, чтобы можно было привести домой субботним вечером. Я выбрался из своего убежища, вышел к лестнице и улегся на коврик, покрывавший площадку. По опыту я знал, что, если лечь на пол и заглянуть в проем между опорной колонной и верхней балясиной, можно увидеть, что происходит в гостиной. Отец стоял у камина с какой-то женщиной — судя по всему, они рассматривали портреты мистера и миссис Ванхубейк. Я поднялся на ноги и вернулся в комнату сестры, чтобы отчитаться.

— Это женщина, — сказал я Мэйв. Сэнди это и так уже знала.

Сэнди спросила, почистил ли я зубы, очевидно, имея в виду, чистил ли я их утром. Кому придет в голову чистить зубы в четыре часа дня? Джослин по субботам не работала, поэтому Сэнди приходилось со всем управляться самой. Она разжигала камин, встречала посетителей, предлагала им выпить, а тут еще мои зубы. Выходной у Сэнди был в понедельник. По

воскресеньям отдыхали они обе, поскольку отец считал, что негоже заставлять людей работать в воскресный день.

— Почистил, — ответил я, потому что скорее всего так оно и было.

— Ну так еще раз почисти, — сказала она. — И причешись.

Последнее относилось к моей сестре: ее черные волосы были длинными и густыми, как связанные вместе десять конских хвостов. Чеши не чеши — толку все равно никакого.

Когда Сэнди сочла, что нам можно показаться на люди, мы с Мэйв спустились вниз и встали под широкой аркой в холле, глядя, как папа и Андреа смотрят на Ванхубейков. Они нас не заметили или не обратили на нас внимания — трудно сказать, — поэтому мы стояли и ждали. Вести себя тихо мы с Мэйв умели — привычка, рожденная в попытках не раздражать отца, хотя, когда он чувствовал, что мы крадемся, это раздражало его лишь сильнее. На нем был синий костюм. Он никогда не носил костюм по субботам. В тот раз я впервые заметил, что волосы у него на затылке начали сесть. Рядом с Андреа он казался еще выше, чем был.

«Какое это, должно быть, утешение, что они всегда рядом», — сказала Андреа о картинах, не о детях. Мистер и миссис Ванхубейк, чьи имена мне были неизвестны, выглядели на портретах старыми, но при этом не то чтобы совсем древними. Оба одеты в черное, позы подчеркнута формальные, из других времен. Несмотря на разделявшие их рамы, они были вместе, они были так безоговорочно *женаты*, что я всегда думал об их портретах как об одной большой картине, которую кто-то разрезал пополам. Андреа запрокинула голову, изучая две пары хитрых глаз, которые, казалось, с неодобрением следили за мальчиком, вне зависимости от того, на какой из диванов он решит присесть. Мэйв украдкой ткнула меня пальцем меж ребер, чтобы я взвизнул, но я сдержался. Нас еще не представили Андреа, которая со спины казалась маленькой и изящной в своем подпоясанном платье и темной шляпке размером с блюдце, приколотой к пряди светлых волос. Будучи воспитанником монахинь, я знал: лучше не смущать гостя

смехом. Андреа никак не могла знать, что люди на картинах достались нам вместе с домом, что вообще все в доме досталось нам вместе с домом.

На Ванхубейков в гостиной невозможно было не засмотреться — будто поблекшие полноразмерные копии реальных людей, чьи суровые некрасивые лица выписаны с голландской точностью и чисто голландским пониманием света; на каждом этаже были десятки других портретов, поменьше, — их дети в коридорах, их пращурь в спальнях, множество дорогих им безымянных людей, рассредоточенных повсюду. А еще был портрет десятилетней Мэйв — не такой громоздкий, как картины с голландцами, но ничуть не хуже. Отец ангажировал из Чикаго известного художника, оплатил ему билеты на поезд. Изначально предполагалось, что он напишет портрет мамы, которой, в свою очередь, не сказали, что это займет две недели, — она отказалась позировать, а художник в итоге написал Мэйв. Когда портрет был готов и вставлен в раму, отец повесил его в гостиной напротив Ванхубейков. Мэйв любила повторять, что у них-то она и научилась сверлить людей взглядом.

— Дэнни, — сказал отец, наконец обернувшись, будто ожидал увидеть нас именно там, где мы были. — Поздоровайся с миссис Смит.

Мне всегда будет казаться, что лицо Андреа на мгновение вытянулось, когда она посмотрела на нас с Мэйв. Даже если отец не упоминал о детях, ей наверняка было известно о нашем существовании. Каждый житель Элкинс-Парка был в курсе всего, что происходит в Голландском доме. Возможно, она не думала, что мы спустимся. В конце концов, она рассчитывала на знакомство с домом, а не с детьми. А может быть, Андреа так отреагировала на Мэйв, которая в свои пятнадцать даже в теннисных туфлях была выше, чем Андреа на каблуках. Мэйв начала сутулиться, когда стало ясно, что она перегонит в росте всех своих одноклассниц и большинство одноклассников, и отец неустанно следил за ее осанкой. Можно было подумать, что Спинувыпрями — ее второе имя. Годами он хлопал ее между

лопаток тыльной стороной ладони всякий раз, когда проходил мимо, и, хотя это было непреднамеренное последствие, Мэйв теперь держалась как солдат при дворе королевы, а то и как сама королева. Даже мне было очевидно, как угрожающе она могла выглядеть: высокая, с сияющей гривой черных волос. И этот ее взгляд, когда она смотрит на тебя, скосив глаза книзу, не опуская подбородка. Но я в свои восемь лет был по-прежнему гораздо ниже женщины, на которой впоследствии женится наш отец. Я пожал ее аккуратную руку и представился, затем то же сделала Мэйв. Хотя все запомнят, что Мэйв и Андреа с самого начала были на ножах, это не так. В их первую встречу Мэйв была доброжелательной и учтивой — и оставалась доброжелательной и учтивой, пока это не стало невозможным.

— Как поживаете? — спросила Мэйв, и Андреа ответила:

— Великолепно.

Удивительно точное слово. Иначе и быть не могло. Она годами стремилась попасть сюда: под руку с нашим отцом подняться по широким каменным ступеням, пройти по красной плитке террасы. Андреа была первой женщиной, которую отец привел домой с тех пор, как ушла мама, хотя Мэйв говорила, у него были шашни с нашей няней, молодой ирландкой по имени Фиона.

— Думаешь, он спал с Флаффи? — спросил я. Мы называли ее Флаффи — Пушистиком то есть, — когда были помладше: отчасти из-за того, что мне не удавалось нормально выговорить «Фиона», отчасти из-за облака рыжих волос, мягкими волнами спускавшихся по ее спине. Об этой интрижке, как и большинство других секретов, я узнал много лет спустя, сидя в принадлежащей сестре машине, припаркованной у Голландского дома.

— Если нет, значит, ей приспичило прибраться у него в комнате посреди ночи, — сказала Мэйв.

Папа и Флаффи *in flagrante delicto*¹. Я покачал головой: «Не могу себе представить».

— Ты и *пытаться* не должен. Господи, Дэнни, что за грязь! И потом, ты же практически младенцем был. Удивительно, что ты вообще ее помнишь.

Но я помнил. Когда мне было четыре, Флаффи треснула меня деревянной ложкой. Рядом с левым глазом у меня так и остался почти незаметный шрам в виде маленькой клюшки для гольфа — «пушистая метка», как называла его Мэйв. Флаффи божилась, что готовила яблочное пюре, а я просто испугал ее, внезапно схватив за юбку. Она сказала, что пыталась отогнать меня от плиты и уж точно не собиралась бить, хотя, по-моему, случайно ударить ребенка ложкой по лицу не так-то просто. Эта история представляет интерес лишь потому, что это мое первое отчетливое воспоминание — о конкретном человеке, о Голландском доме, о собственной жизни. Маму я совершенно не помню, зато помню ложку Флаффи, прилетевшую мне в голову. Помню, когда я завопил, Мэйв внеслась в кухню из холла — так олень перемахивает через живую изгородь на заднем дворе. Она набросилась на Флаффи, повалила ее на плиту; заплясали голубые огоньки, кастрюля с кипящим яблочным пюре опрокинулась на пол, и нас всех обдало горячими брызгами. Мэйв перевязали руку, меня отвезли к врачу, он наложил шесть швов; Флаффи уволили — несмотря на все ее причитания, извинения и заверения, что все это нелепая случайность. Она не хотела уходить. По словам сестры, это и были предыдущие отношения нашего отца, а уж она-то наверняка знала, потому что если мне было четыре года, когда я получил этот шрам, то ей, получается, одиннадцать.

К слову, отец Флаффи когда-то работал у Ванхубейков шофером, а мать — кухаркой. Флаффи провела детство в Голландском доме — или в квартирке над гаражом, так что мне остается лишь гадать, куда она направилась, когда ей указали на дверь.

Из всех нас только Флаффи лично знала Ванхубейков. Даже отец ни разу их не видел, хотя мы сидели на их стульях, спали в их постелях и ели из их делфтского сервиза. Ванхубейки не были ключевыми героями истории, но в некотором смысле

историей был этот дом, когда-то принадлежавший им. Они сделали состояние на оптовой продаже сигарет — успешном бизнесе, в который мистер Ванхубейк вложил незадолго до начала Первой мировой войны. Солдатам на поле боя давали сигареты для поддержания боевого духа, и эта привычка перекочевала с ними домой, ознаменовав десятилетие процветания. Ванхубейки, с каждым часом все богаче, заказали проект дома, который планировали построить на территории тогдашних фермерских угодий Филадельфии.

Ошеломляющий успех дома стоило бы приписать архитектору, но годы спустя, когда я решил изучить вопрос, мне не удалось найти других примеров его работ. Возможно, один из этих суровых Ванхубейков, а то и оба они были в некотором роде визионерами, или сама эта земля вдохновила чудо, какого они себе и представить не могли, или же Америка после Первой мировой войны кишела ремесленниками, работавшими по стандартам, которые сегодня позабыты. Как бы то ни было, дом, который им в итоге достался, — дом, который впоследствии достался нам, — был уникальным сочетанием таланта и удачи. Мне трудно объяснить, почему трехэтажный дом выглядел как нечто занимающее ровно столько места, сколько необходимо, но именно так он и выглядел. Ну или, возможно, лучше сказать, что эта громадина была результатом расточительной и нелепой траты ресурсов, но нам никогда не хотелось ничего здесь изменить. Голландский дом, как его прозвали в Элкинс-Парке, Дженкинстауне, Гленсайде и даже в Филадельфии, был известен благодаря не столько архитектуре, сколько своим обитателям, всем этим голландцам с непроницаемыми именами. Если вы смотрели на него с определенного расстояния, он, казалось, парил в нескольких дюймах над холмом, на котором стоял. Панели из стекла, окружавшие стеклянные же двери, были размером с витрину магазина и крепились коваными железными лозами. Окна одновременно пропускали солнечный свет и отбрасывали его на широкую лужайку. Может быть, это была неоклассика, хотя в простоте линий было скорее что-то средиземноморское или французское, и, при том что

голландским этот дом уж точно не был, голубые делфтские каминные панели в гостиной, библиотеке и главной спальне, по слухам, были тайно вынесены из замка в Утрехте и проданы Ванхубейкам, чтобы покрыть карточные долги принца. Строительные и отделочные работы — вплоть до каминных полок — завершились в 1922 году.

— Они прожили семь славных лет до того, как банкиры начали выбрасываться из окон, — сказала Мэйв, определяя нашим предшественникам место в истории.

Собственно, о том, что эта недвижимость ранее выставлась на продажу, я узнал в тот самый день, когда появилась Андреа. Она прошла за отцом через холл и принялась изучать лужайку перед домом.

— Столько стекла, — сказала она, будто прикидывая, можно ли заменить стекло стенами. — Тебя не смущает, что кто угодно может заглянуть?

Но в Голландский дом можно было не только заглянуть — сквозь него можно было смотреть. Ровно посередине он сужался, обширный холл вел напрямиком к месту, которое мы называли обсерваторией, с окнами во всю стену, выходящими на задний двор. Стоя на подъездной аллее, можно было пробежаться взглядом по парадным ступеням, пересечь террасу, заглянуть сквозь парадные двери, проскользнуть по мраморному полу из холла в обсерваторию и увидеть сирень, рассеянно колышущуюся в саду позади дома.

Отец посмотрел на потолок, потом на дверной проем, как будто сам впервые об этом подумал. «От дороги здесь довольно далеко», — сказал он. Тем майским вечером стена лип, тянувшаяся вдоль границы участка, была густо покрыта листвой; склон зеленой лужайки, которую за лето я успевал хорошенько измять своей щенячьей возней, был крутым и широким.

— А когда стемнеет? — в голосе Андреа появилось беспокойство. — Можно же хоть какие-то шторы повесить.

Шторы, перегораживающие вид: не только невероятная, но и самая глупая идея из всех, что я слышал; так мне тогда

казалось.

— Вы видели нас ночью? — спросила Мэйв.

— Не забывай, что земля, когда они ее купили, простиралась больше чем на восемьдесят гектаров, — сказал отец, проигнорировав Мэйв. — Территория тянулась до самого Мелроуз-Парка.

— Но почему они вообще все это продали? — Андреа внезапно поняла, как выглядел бы Голландский дом, если бы вокруг не было других построек. Линия обзора должна была проходить далеко за склоном лужайки, за клумбами с пионами и розами. Взгляд мог блуждать по широкой долине, спускаться к лесу, так что, даже если бы Ванхубейки или кто-то из их гостей выглянули ночью из окна бального зала, единственным светом, который они увидели бы, был бы свет звезд. Не было ни улицы, ни района, хотя теперь и улица, и дом Буксбаумов через дорогу прекрасно просматривались зимой, когда с деревьев опадали листья.

— Деньги, — сказала Мэйв.

— Деньги, — кивнул отец. Не так уж это было и сложно. Даже я в мои восемь был способен смекнуть, что к чему.

— Они были не правы, — сказала Андреа и поджала губы. — Подумай, как здесь должно было быть красиво. Я считаю, им стоило проявить побольше уважения. Этот дом — произведение искусства.

Тут уж я расхохотался, потому что понял слова Андреа буквально — мол, Ванхубейки продали землю, не спросив ее. Отец, рассердившись, велел Мэйв отвести меня наверх — можно подумать, я забыл дорогу.

Сигареты фабричного производства, рядами уложенные в картонные коробки, были роскошью, предназначенной для богатых, как и гектары, по которым никогда не гуляли люди, ими владевшие. Землю отстригали от дома по клочку. Упадок поместья стал достоянием общественности, история была зафиксирована в свидетельствах о собственности. Участки продавались в уплату долгов — сперва десять гектаров, потом пятьдесят, потом еще двадцать восемь. Элкинс-Парк

подбирался все ближе и ближе к входной двери. Таким образом семья Ванхубейк выжила в депрессию — и все ради того, чтобы в 1940-м мистер Ванхубейк скончался от пневмонии. Младший сын умер в детстве, а двое старших погибли на войне. Миссис Ванхубейк скончалась в 1945 году, когда не осталось ничего, что можно было бы продать, кроме заднего двора. Дом и все, что в нем находилось, вернулись в банк; прах к праху.

Флаффи оставили по инициативе пенсильванского филиала Ссудосберегательной ассоциации — ей назначили небольшое жалованье, чтобы она ухаживала за участком. Ее родители то ли умерли, то ли нашли другую работу. Как бы то ни было, она жила над гаражом одна и каждый день проверяла состояние дома, чтобы убедиться, что крыша не протекает и нигде не прорвало трубу. С помощью газонокосилки она выстригла дорожку от гаража к парадным дверям, а остальной газон запустила. Она собирала фрукты с деревьев, оставшихся позади дома, делала яблочное повидло и консервировала персики на зиму. К тому времени, как наш отец купил это место в 1946 году, еноты захватили бальный зал и сгрызли проводку. Флаффи заходила в дом лишь тогда, когда солнце стояло прямо над головой, в тот самый час, когда все ночные звери крепко спали, сбившись в кучу. Чудо, что все это просто не сгорело дотла. Енотов в конце концов отловили и ликвидировали, но от них остались блохи, пробравшиеся во все щели. Мэйв рассказывала, что ее первые воспоминания о жизни в доме связаны с зудом и тем, как Флаффи прижигала каждый укус ватной палочкой, смоченной в каламиновом лосьоне. Наши родители наняли Флаффи приглядывать за Мэйв.

* * *

Когда мы с Мэйв впервые припарковались на Ванхубейк-стрит (*Ван-ху-бейк* жители Элкинс-Парка неизменно произносили как *Ван-хо-бик*), я как раз приехал на свои первые весенние каникулы из Чоута. От весны, впрочем, было одно название: на земле лежал толстый слой снега — первоапрельская шутка

суровой зимы. За половину семестра, проведенную в школе-интернате, я усвоил, что настоящая весна — это когда родители берут тебя с собой в круиз на Бермуды.

— Ты чего? — спросил я Мэйв, когда она остановилась перед домом Буксбаумов, через дорогу от Голландского дома.

— Хочу кое-что посмотреть. — Мэйв нагнулась и вдавила кнопку прикуривателя.

— Нечего тут смотреть, — сказал я. — Поехали отсюда.

Настроение у меня было хуже некуда — из-за погоды, из-за несоответствия, как мне казалось, того, что я имел, тому, что я заслуживал, и все равно здорово было вернуться в Элкинс-Парк, оказаться рядом с сестрой, в ее машине — старом синем олдсмобиле нашего детства, который отец отдал ей, когда она сняла квартиру. Поскольку мне было пятнадцать и в целом я был идиотом, мне казалось, что охватившее меня чувство дома связано с этой машиной и тем, где она припаркована, а не с сестрой, хотя благодарить стоило именно — и только — ее.

— Куда-то торопишься? — Она вытряхнула из пачки сигарету и положила руку на прикуриватель. Если вовремя его не поймать, он выскочит и прожжет дыру в сиденье, или в коврике, или в чьей-нибудь ноге — в зависимости от того, где приземлится.

— Ты приезжаешь сюда, пока я в интернате?

Щелк. Поймала, прикурила.

— Нет.

— И все же мы здесь, — сказал я. Снег падал обильно и мягко, остатки дневного света терялись за облаками. В душе Мэйв была исландским дальнобойщиком — никакая погода ей не помеха, — но я был только с поезда, я устал и замерз. Мне хотелось горячих бутербродов с сыром и полежать в ванне. В Чоуте о ванне было лучше не заикаться, а то засмеют, хотя я никогда этого не понимал. Видимо, настоящие мужики принимают душ.

Мэйв набрала полные легкие дыма, выдохнула и заглушила мотор.

— Пару раз думала доехать сюда, но без тебя не стала.

Улыбнулась и опустила стекло — ровно настолько, чтобы салон пронизало арктическим холодом. Перед тем как уехать в школу, я вечно донимал ее, чтобы она бросила курить, а потом не удосужился сказать, что сам начал. В Чоуте сигареты были вместо ванны.

Я вытянул шею, посмотрел на подъездную дорожку.

— Видишь их?

Мэйв выглянула из окна с водительской стороны.

— Почему-то не могу перестать думать о том, как она в первый раз сюда заявила. Ты-то помнишь?

Еще бы я не помнил. Разве можно забыть пришествие Андреа?

— Она еще несла какую-то ересь — мол, люди же смотрят, ночью с улицы все видно.

Едва Мэйв это произнесла, как холл заполнил теплый золотистый свет люстры. Через некоторое время зажглись огни над лестницей, еще немного погодя — в хозяйской спальне на втором этаже. Включение подсветки Голландского дома до такой степени совпало со словами Мэйв, что у меня чуть сердце не остановилось. Ну конечно, она приезжала сюда без меня. Она знала, что Андреа включала свет в ту самую минуту, когда заходило солнце. Отрицать это было чуточку театрально со стороны моей сестры, но я оценил ее усилия, когда позже их осознал. Зрелище было охренительное.

— Посмотри, — прошептал я.

Липы стояли голые, тихо падал снег. Конечно, все было видно, все просматривалось — не с идеальной четкостью, но память дорисовывала картинку: прямо под люстрой стоял круглый стол, где по вечерам Сэнди оставляла отцовскую почту, чуть поодаль — напольные часы, которые я должен был заводить каждое воскресенье после мессы, чтобы кораблик под цифрой 6 продолжал тихонько покачиваться между двумя рядами синих волн. Ни кораблика, ни волн я не видел; я знал о них. У стены стоял приставной столик в форме полумесяца, а еще кобальтовая ваза с изображением девочки с собакой, два французских кресла, на которые никто никогда не садился,

и огромное зеркало — его рама всегда напоминала мне изогнутые щупальца золотого осьминога. Андреа прошла через холл, будто ей подали реплику на выход. Лицо мы разглядеть не могли, но я узнал походку. Норма вихрем слетела по ступенькам и резко замерла в самом низу, потому что мать велела ей не бегать. Она подросла, хотя, возможно, это была не Норма, а Брайт.

— Наверняка она подглядывала за нами, — сказала Мэйв. — Еще до того, как пришла сюда в первый раз.

— Ну или вообще все на нас смотрели, каждый, кто проезжал по улице зимой. — Я потянулся к сумочке Мэйв, вытащил сигареты.

— Звучит слегка тщеславно, — сказала она. — *Вообще* все.

— Нас этому в Чоуте учат.

Она рассмеялась, очевидно, сама того не ожидая, чем ужасно меня порадовала.

— Целых пять дней дома вместе с тобой, — сказала она, выдувая дым в открытое окно. — Лучшие пять дней в году.

Глава 2

ПОСЛЕ СВОЕГО ПЕРВОГО ПОЯВЛЕНИЯ в Голландском доме Андреа распространилась, словно вирус. Стоило нам решить, что мы видели ее в последний раз — само ее имя могло не произноситься месяцами, — как она вновь возникала за обеденным столом, присмирившая за время отсутствия, но постепенно вновь набирающая силу. Хорошенько разогревшись, Андреа говорила исключительно о доме. О каких-нибудь особенностях лепнины или о точной высоте потолка, как будто само наличие потолка было для нас в новинку. «Это называется ионик», — говорила она мне, указывая наверх. Достигнув предела возможностей нашего терпения, она исчезала вновь, и нас с Мэйв (да и отца, как мы полагали) омывало волной восхитительной тишины.

В то воскресенье мы вернулись домой после мессы и обнаружили ее в саду — Андреа сидела на одном из белых металлических стульев у бассейна; или это Мэйв ее увидела. Да, Мэйв шла через библиотеку и случайно увидела ее в окно. Она не стала звать отца, как поступил бы я, а, пройдя через кухню, вышла напрямиком во двор.

— Миссис Смит? — сказала Мэйв, прикрывая глаза рукой. До тех пор пока они не поженились, мы называли ее «миссис Смит», поскольку нам и не предлагали называть ее как-то иначе. Полагаю, после свадьбы она предпочла бы слышать от нас «миссис Конрой», но это бы взвинтило неловкость до предела, учитывая, что Конрой — и наша с Мэйв фамилия.

Мэйв сказала, что Андреа вздрогнула — возможно, она успела задремать.

— Где твой отец?

— В доме. — Мэйв посмотрела через плечо. — Он вас ждет?

— Это я жду его битый час, — поправила Андреа.

Поскольку было воскресенье, ни Сэнди, ни Джослин не было. Не думаю, что они впустили бы ее в наше отсутствие, хотя на все

сто не уверен. Из них двоих Сэнди была помягче, Джослин — поподозрительней. Им не нравилась Андреа, и, вероятно, они бы вынудили ее ждать нашего возвращения снаружи. Было свежо — славный денек, чтобы посидеть у бассейна; солнечный свет плясал на голубой воде, тонкие прожилки мха пробивались меж каменных плит. Мэйв сказала ей, что мы были в церкви.

После чего они уставились друг на дружку, не отводя глаз.

— Я, знаешь, наполовину голландка, — сказала наконец Андреа.

— Простите?

— По матери. Она была чистокровной голландкой.

— Мы ирландцы, — сказала Мэйв.

Андреа кивнула, будто обозначая конец некой пикировки, завершившейся в ее пользу. Когда стало очевидно, что разговор окончен, Мэйв вернулась в дом и сказала отцу, что у бассейна ждет миссис Смит.

— Где она, черт ее дери, припарковалась? — сказала Мэйв, когда отец вышел из комнаты. В те дни моя сестра старалась избегать подобных выражений, особенно после мессы. — Она же вечно прямо у дома паркуется.

И мы отправились на поиски машины: проверили за домом, потом за гаражом. Не обнаружив ее ни в одном из очевидных мест, прошли по подъездной дорожке — гравий хрустел под нашими воскресными туфлями — и оказались посреди улицы. Мы понятия не имели, где живет Андреа, но точно знали, что она не наша соседка, так что вряд ли она просто оказалась рядом и решила зайти. Наконец мы нашли ее кремового цвета импалу, припаркованную в квартале от нас; левая сторона переднего бампера была всмятку. Мэйв присела, чтобы оценить повреждения, а я даже осмелился притронуться к свисающему крылу, поразившись, что фара при этом уцелела. Андреа определенно во что-то въехала и не хотела, чтобы мы знали.

Мы не рассказали отцу про машину. Он ведь нам тоже ничего не рассказывал. Никогда не говорил об Андреа — ни когда она уходила, ни когда возвращалась. Он не упоминал, отводит ли ей какую-то роль в нашем общем будущем. Когда

она была с нами, он вел себя, будто так было всегда. Когда она исчезала, нам и в голову не приходило напомнить о ней — мы боялись, что он снова ее позовет. По правде сказать, не думаю, что Андреа как-то особенно его интересовала. Мне кажется, он просто был неспособен противостоять ее назойливости. Его тактика, видимо, состояла в том, чтобы игнорировать ее, пока она окончательно не исчезнет. «А уж этому не бывать», — сказала мне Мэйв.

Единственное, что по-настоящему заботило отца, — его работа: дома, которые он строил, которыми владел, которые сдавал внаем. Он редко что-нибудь продавал, предпочитая использовать свою недвижимость в качестве залога для покупки новых объектов. Если они договаривались о встрече с банкиром, тот приходил, и отец заставлял его ждать. Миссис Кеннеди, отцовская секретарша, предлагала банкиру кофе и заверяла, что ожидание не затянется, хотя это не всегда соответствовало действительности. Банкиру ничего не оставалось, кроме как сидеть в крошечной приемной моего отца, держа шляпу в руках.

Даже то малое количество времени, которое отец мог и был готов уделить мне в конце недели, он встраивал в свой рабочий график. В первую субботу каждого месяца он сажал меня в свой бьюик и мы отправлялись собирать арендную плату; мне он вручал карандаш и гроссбух, чтобы я записывал, сколько заплатили арендаторы, напротив суммы, которую они были должны. Очень скоро я научился определять, кого не окажется дома, а кто будет ждать нас с конвертом прямо у входной двери. Я знал, кто начнет жаловаться — на протекший сливной бачок, на засорившийся унитаз, на сдохший выключатель. У некоторых каждый месяц что-нибудь случалось, и они не расставались со своими деньгами, пока проблема не была решена. Отец, слегка прихрамывая — на войне ему перебило колено, — шел к багажнику и выуживал оттуда все, что может понадобится для починки. В детстве багажник представлялся мне таким сказочным сундуком: плоскогубцы, хомутики, молотки, отвертки, герметик, гвозди — чего там только не было! Теперь-то я знаю, что починка, о которой вас просят субботним утром,

чаще всего дело несложное, и отец любил выполнять эту работу сам. Он был богат, но хотел, чтобы люди видели — он по-прежнему знает, как все устроено. Или, возможно, это был спектакль для меня, и ему не нужно было колесить по округе, собирая ренту, как не нужно было затаскивать свою увечную ногу на лестницу, чтобы посмотреть, где там расшаталась черепица. Для этого у него был отдел техобслуживания. Возможно, именно ради меня он закатывал рукава и снимал крышку с плиты, чтобы проверить нагревательный элемент, пока я стоял в стороне, дивясь тому, сколько же всего он умеет. Он говорил, чтобы я все запоминал, ведь однажды дело перейдет ко мне. И я должен быть хорошо подкован.

— Единственная возможность узнать подлинную ценность денег — пожить в нищете, — сказал он, пока мы обедали в его машине. — Что свидетельствует не в твою пользу. Живет мальчик в достатке, ни в чем не испытывает нужды, не знает голода. — Он покачал головой, как будто это был мой, притом неверный, выбор. — Какой-то непреодолимый барьер. Можно сколько угодно смотреть на этих людей, видеть, каково это — быть в их ситуации, но это не то же самое, что жить в подобных условиях самому. — Он отложил сэндвич и отхлебнул кофе из термоса.

— Да, сэр, — сказал я. Ну а что еще я мог сказать?

— Самая большая ложь о бизнесе заключена во мнении, будто для того, чтобы делать деньги, изначально нужны деньги. Запомни вот что. Нужно быть сообразительным, иметь свой план и держать нос по ветру. Все это не стоит ни гроша. — В том, чтобы давать советы, отец был не силен, и этот монолог, похоже, здорово его вымотал. Договорив, он вытащил из кармана носовой платок и промокнул лоб.

Когда я бываю в лиричном настроении, то оглядываюсь на этот момент и говорю себе, что именно здесь кроется причина того, как все в итоге сложилось. Отец пытался поделиться со мной опытом.

Ему всегда было проще общаться с арендаторами, чем с теми, кто окружал его в офисе или дома. Арендатор обычно

пускался в рассуждения о том, почему Филадельфии никогда не сравниться с Бруклином, или начинал с объяснения, почему в конверте недостаточно денег, и уже по одной отцовской позе, по тому, как он кивал в ответ, мне было понятно, что он внимательно слушает. Люди, которые не могли внести арендную плату целиком, никогда не жаловались, например, на слипшиеся от краски оконные створки. Они лишь хотели объяснить, по какой причине денег не хватает, и заверить, что в следующем месяце этого не повторится. Отец никогда не отчитывал жильцов и не угрожал им. Он только слушал, а затем просил их стараться получше. Но спустя месяца три подобных разговоров, когда мы возвращались в следующий раз, в квартире уже жила другая семья. Мне ни разу не довелось узнать, что случилось с теми или иными несчастливцами, — так или иначе, это никогда не совпадало с первой субботой месяца.

День продолжался, отец все больше курил. Я сидел рядом на широком автомобильном диване, просматривал записи в гроссбухе, поглядывал на мелькавшие за окном деревья. Я знал: если он курит, значит, о чем-то задумался и мне лучше вести себя потише. Чем ближе была Филадельфия, тем хуже выглядели жилые районы. Самых бедных арендаторов он оставлял напоследок, как бы предоставляя им дополнительные часы для сбора недостающих средств. Во время этих последних остановок я бы куда охотнее ждал в машине, слушал бы радио, но мне было слишком хорошо известно, что мою просьбу остаться и его отказ лучше сразу опустить. Жильцы в Маунт-Эйри и Дженкинстауне всегда были добры ко мне, расспрашивали о школе и баскетболе, предлагали конфеты, которые мне было запрещено принимать. «С каждым днем все больше похож на отца, — говорили они. — Скоро его догонишь». Однако в бедных районах дело обстояло иначе. Не то чтобы жильцы не были радушны, но в них ощущалась нервозность, даже если они располагали необходимой суммой, — возможно, они вспоминали о том, как обстояли дела месяц назад, или гадали, как пойдут дела в следующем. Они были почтительны не только с отцом, но и со мной, отчего мне

хотелось сквозь землю провалиться. Мужчины старше моего отца называли меня «мистер Конрой» — а мне было лет десять, — как будто сходство, которое они видели между нами, было не только физическим. Возможно, они видели ситуацию в том же свете, в каком ее видел мой отец, — однажды я займу его место, так что какой смысл называть меня Дэнни. Поднимаясь по ступенькам к входной двери, я отколупывал с перил кусочки краски и перешагивал прохудившиеся доски. Неприкрытые двери раскачивались на петлях, в проемах не было москитных сеток. В одних прихожих стояла тропическая жара, в других — затхлая духота. Это наводило меня на мысль о том, какая это, вообще говоря, роскошь — трепаться о разболтавшейся шайбе смесителя, не упоминая в разговоре со мной, что этот дом тоже принадлежит моему отцу и что вполне в его власти открыть багажник и сделать жизнь этих людей лучше. Он стучал в одну дверь за другой, и мы выслушивали рассказы живших там людей: муж остался без работы, муж ушел, жена бросила, ребенок болен. Как-то раз один из жильцов сказал, что не может оплатить аренду, потому что его сыну до того плохо, что ему самому приходится сидеть дома и присматривать за мальчиком. Мужчина и мальчик были одни в темной квартире — полагаю, совершенно одни. Когда отец услышал достаточно, он прошел к дивану, стоявшему в гостиной, и взял пылающего жаром ребенка на руки. Я тогда понятия не имел, как выглядят мертвецы, а у мальчика свесилась рука, его голова откинулась на отцовское плечо. Это вселило в меня страх Божий. Если бы не его тяжелое хриплое дыхание, я бы решил, что мы приехали слишком поздно. Ментоловый душок страданий висел в тяжелом воздухе квартиры. Мальчику было лет пять или шесть, совсем еще малыш. Мой отец спустился с крыльца и уложил его на заднем сиденье бьюика; отец мальчика шел следом, заверяя, что все эти хлопоты ни к чему. «Не стоит, правда, — повторял он. — Он поправится». Тем не менее он сел в машину рядом с сыном и поехал в больницу. До этого я ни разу не сидел на переднем пассажирском месте, чтобы взрослый при этом ехал сзади. Мне

оставалось лишь гадать, что сказали бы монахини, если бы увидели эту картину. Доехав до больницы, отец обо всем договорился с дежурной сестрой, после чего мы отправились домой — в темноте, ни словом не обмолвившись о произошедшем.

— Чего это он вдруг? — спросила меня Мэйв после ужина, когда мы поднялись в ее спальню. Отец никогда не брал ее с собой собирать ренту, несмотря на то что она была на семь лет старше меня, год за годом выигрывала школьные олимпиады по математике и уж точно гораздо лучше управлялась бы с гроссбухом. Первую субботу каждого месяца, после того как нам разрешали выйти из-за стола, а отец уходил с газетой и стаканом в библиотеку, Мэйв затаскивала меня к себе в комнату и закрывала дверь. Я должен был припомнить все события дня, не опустив ни единой детали: что было в каждой квартире, о чем говорили жильцы, что отвечал им отец. Ей было интересно даже, какие сэндвичи мы покупали на обед, хотя каждый раз это была одна и та же забегаловка.

— Ну, мальчику было очень плохо. Когда папа укладывал его в машину, он даже глаза не открыл, — едва мы добрались до госпиталя, отец велел мне сходить в уборную и вымыть руки с мылом под горячей водой, хотя я не прикасался к ребенку.

Мэйв задумалась.

— Что?

— Сам посуди. Он терпеть не может больных. Он хотя бы раз заглядывал к тебе в комнату, когда ты болел? — Она растянулась на кровати рядом со мной, взбила подушку. — Если собираешься залезть с ногами, то сними хотя бы свои изгвазданные ботинки.

Я скинул обувь. Присаживался ли он на краешек моей кровати, клал ли руку мне на лоб? Приносил имбирный чай, спрашивал, не сильно ли меня тошнит? Все это делала Мэйв. Если она была в школе, это делали Сэнди и Джослин. «Он ни разу ко мне не заглядывал».

— И с чего бы тогда ему возиться с мальчиком, когда рядом был его отец?

По сравнению с Мэйв я был тугодумом, но в этом случае ответ был очевиден: «Потому что там не было его мамы». Будь в квартире женщина, он бы ни за что в это не ввязался.

Женское присутствие было мерилом благополучия, а это значило, я был более благополучен, чем Мэйв. С тех пор как ушла мама, Мэйв без конца возилась со мной, но никто не возился с ней. Сэнди и Джослин присматривали за нами, это да. Они заботились о том, чтобы мы были чистыми и сытыми, чтобы у нас были с собой школьные обеды и наши скаутские взносы были уплачены. Они любили нас, я знаю, но в конце каждого дня они уходили домой. Я не мог, если мне приснился кошмар, залезть под одеяло к Сэнди или Джослин, а постучаться к отцу мне даже в голову не приходило. Я шел к Мэйв. Она научила меня обращаться с вилкой. Она приходила на мои баскетбольные матчи, знала всех моих друзей, проверяла мои домашние задания, каждое утро целовала меня перед школой и каждый вечер перед сном, вне зависимости от того, хотелось мне этого или нет. Она непрестанно, неустанно говорила, какой я добрый, умный и ловкий и что я смогу стать настолько классным парнем, насколько сам захочу. Ей все это так здорово давалось, при этом никто не делал того же для нее.

— Обо мне заботилась мама, — сказала она, удивившись, что мне вообще могло такое в голову прийти. — Малыш, из нас двоих везунчик — я. В отличие от тебя я провела с ней много лет. Я и представить не могу, как сильно ты, наверное, по ней скучаешь.

Но как я мог скучать по той, которую совсем не знал? Мне в то время было три года, и если даже я понимал, что происходит, теперь напрочь забыл. Это Сэнди мне все рассказала, хотя что-то, разумеется, я узнал от сестры. Когда мама начала пропадать из дома, Мэйв было десять. Однажды утром она выбралась из постели, раздвинула шторы, чтобы посмотреть, не выпал ли за ночь снег. Каждую зиму Голландский дом промерзал. В комнате Мэйв был камин, и Сэнди неизменно подкладывала сухие поленья на решетку, под которой лежала куча смятых газет, так что по утрам Мэйв оставалось лишь чиркнуть

спичкой — ей разрешали это делать с восьми лет. («На восьмой день рождения мама подарила мне коробок спичек, — однажды рассказала она. — Когда ей самой исполнилось восемь, она тоже получила в подарок коробок спичек от своей мамы, которая все утро учила ее их зажигать. И вот мама показала мне, как разводить огонь, а вечером того же дня разрешила самой зажечь свечи на деньрожденном торте».) Мэйв разожгла камин, надела халат, влезла в тапочки и пошла в соседнюю комнату проведать меня. Мне было три года, я спал. В этой истории я никак не участвовал.

Затем она прошла по коридору к родительской комнате и никого там не обнаружила; кровать была застелена. Мэйв вернулась к себе в комнату и собралась в школу. Почистила зубы, умылась и была уже почти одета, когда Флаффи пришла, чтобы ее разбудить.

— Каждое утро ты меня опережаешь, — сказала Флаффи.

— Значит, буди меня пораньше, — сказала Мэйв.

Флаффи ответила, что это ни к чему.

Мамино отсутствие было необычным, но случилось это не впервые. Ни Сэнди, ни Джослин, ни Флаффи не казались встревоженными. Ну а раз они спокойны, причин для беспокойства нет. Обычно Мэйв в школу отвозила мама, но в то утро с ней поехала Флаффи, обед ей упаковала Джослин. Из школы в тот день ее тоже забрала Флаффи. Когда Мэйв спросила, где мама, Флаффи пожала плечами: «С папой, наверное».

Мама не вернулась к ужину, и, когда пришел отец, Мэйв спросила его, где мама. Он сгрел ее в охапку и поцеловал в шею. В те дни подобное все еще было в порядке вещей. Он сказал, что мама уехала в Филадельфию навестить друзей.

— И не попрощалась?

— Она попрощалась со мной, — сказал отец. — Уехала рано утром.

— Я рано проснулась.

— Значит, она проснулась еще раньше и попросила, чтобы я передал тебе, что она вернется через день-другой. Время

от времени каждому нужно отдыхать.

— От чего? — спросила Мэйв, имея в виду: *От меня? От нас?*

— От дома. — Он взял ее за руку и повел ужинать. — Это место требует много внимания.

Сколько, интересно, внимания требовал дом, когда всю основную работу делали Джослин, Сэнди и Флаффи, когда рабочие в саду поддерживали лужайку в опрятном виде, сгребали опавшие листья, убирали снег, да и Мэйв изо всех сил старалась помогать.

Мама не вернулась и на следующее утро, в школу и из школы Мэйв снова возила Флаффи. Но когда на второй день они зашли в дом, мама была на кухне, пила чай с Сэнди и Джослин. Я играл на полу с кастрюлями — снимал с них крышки.

— Она выглядела такой уставшей, — сказала мне Мэйв. — Как будто все это время не спала.

Мама поставила чашку и усадила Мэйв к себе на колени. «Радость моя, — сказала она, поцеловав ее в лоб, поцеловав прядку ее волос. — Моя любовь».

Мэйв обвила руками вокруг маминой шеи, уткнулась головой ей в грудь и вдыхала ее запах, пока мама трепала ей волосы. «Это чья такая девочка? — спросила она у Сэнди и Джослин. — Чья эта красивая, добрая и умная девочка? Что я такого сделала, чем ее заслужила?» Эта история с различными вариациями повторялась еще трижды.

В течение следующих двух месяцев мама снова исчезала — на две ночи, потом на четыре, потом на неделю. Мэйв стала просыпаться по ночам, заглядывать в комнату родителей, чтобы убедиться, что мама по-прежнему там. Бывало, мама не спала, замечала Мэйв за дверью и откидывала одеяло, чтобы та, бесшумно прокравшись через комнату к кровати, припала к теплому изгибу ее тела. Все мысли тут же улетучивались, и она засыпала в маминых объятиях, под мамино сердцебиение, ощущая на себе ее дыхание. Ничто другое в ее жизни не могло с этим сравниться.

— Почему ты ушла, не попрощавшись? — спрашивала ее Мэйв, мама в ответ лишь качала головой.

— Прощаются при расставании. А я никогда-никогда с тобой не расстанусь.

— Она была больна? Ей становилось хуже?

Мэйв кивнула:

— Она превращалась в призрак. Похудела за неделю, потом стала бледнеть, таяла с каждым днем. Мы все будто скукоживались. Когда она возвращалась, плакала дни напролет. После школы я приходила к ней, сидела у нее на кровати. Иногда с ней в постели был ты, играл. Когда папа бывал дома, то постоянно выглядел так, будто пытается поймать ее — типа, знаешь, оставалось только руки расставить. Сэнди, Джослин и Флаффи стали нервными как кошки, но об этом никто не упоминал. Ее отсутствие было невыносимо, когда она возвращалась, тоже было невыносимо, но по-другому — от осознания, что она снова исчезнет.

Когда однажды она действительно снова исчезла, Мэйв спросила отца, когда она вернется. Он посмотрел на нее, очень долго не отводил взгляд. Он не знал, какую часть правды можно открыть десятилетней девочке, и в итоге решил рассказать все как есть. Он ответил, что мама не вернется. Она уехала в Индию и больше не вернется.

Мэйв так и не смогла определиться, что было хуже — что мама уехала или что Индия находится на другой стороне земли. «Нельзя просто так взять и уехать в Индию!»

— Мэйв, — сказал он.

— Может, она еще не уехала! — Она не поверила ему, ни единому его слову, но если у истории есть начало, ее необходимо закончить.

Отец покачал головой и даже не потянулся к ней. Это, пожалуй, самая странная часть всего произошедшего.

Собственно, на этом история о том, как нас бросила мама, и заканчивалась. Должны были последовать вопросы, хоть какие-то объяснения. Если она действительно в Индии, значит, отцу следовало отправиться за ней, вернуть ее домой. Однако ничего этого не произошло, потому что однажды утром Мэйв перестала подниматься с постели. Перестала ходить в школу. Сэнди

приносила ей манную кашу на подносе, присаживалась на краешек кровати, пыталась уговорить ее съесть хотя бы две ложечки, но, по ее словам, уговорить Мэйв было не так-то просто. Для всех причина недуга была очевидна: девочка скучает по маме. Так или иначе, все они были объединены этим страданием, поэтому позволили ребенку замкнуться в собственном горе, и никого не настораживал тот факт, что вот она выпила апельсинового сока, затем стакан воды, потом целый чайник ромашкового чая. Она брала чашку с собой в ванную, снова и снова ее наполняла, пока наконец не опустила голову и не прикладывалась к крану. Флаффи приносила меня в комнату Мэйв, укладывала к ней на постель, и Мэйв читала мне перед сном. Затем однажды днем, примерно через неделю после маминого ухода, Мэйв не проснулась. Флаффи трясла ее, трясла, в итоге взяла на руки и снесла по ступенькам вниз к своей машине.

Где были все? Куда запропастились отец, Сэнди, Джослин? Где был я? Сэнди сказала, что не помнит. «Ужасное было время», — она покачала головой. Ей было лишь известно, что Флаффи отвезла Мэйв в больницу, внесла ее в приемный покой, где медсестры приняли спящего ребенка. Мэйв пробыла в больнице две недели. Врачи сказали, диабет мог развиваться в результате потрясения или вируса. У тела множество возможностей подавить то, что ему непонятно. В больнице Мэйв то приходила в сознание, то опять впадала в забытие, а врачи пытались стабилизировать уровень сахара. Все случившееся было частью сновидения. Она убедила себя, что маму просто не пускают к ней — что-то вроде наказания им обоим за то, что она, Мэйв, совершила, только не может вспомнить, что именно. Ее приходили навещать сестры милосердия — все мамины подруги. Две девочки из школы Святейшего Сердца вручили ей открытку, подписанную всем классом, но им не разрешили остаться. По вечерам приходил отец, но он почти ничего не рассказывал. Клал руку на лодыжку Мэйв поверх одеяла и все твердил, что пора выздоравливать, что она всех очень напугала. Джослин, Сэнди и Флаффи

по очереди дежурили у ее постели. «Одна из нас с тобой, другая с братом, третья с отцом, — говорила Сэнди. — Обо всех позаботимся». Сэнди говорила, что, когда подступали слезы, ей приходилось дожидаться, пока Мэйв заснет, а уж потом выходить в коридор поплакать.

Когда Мэйв выписали домой, стало только хуже. Все решили, что, раз мамин уход так подорвал ее здоровье, дальнейшие разговоры о маме ее убьют. Голландский дом порос тишиной. Сэнди, Джослин и Флаффи посвятили себя моей сестре, иглам, инсулину. Они были в ужасе от того, как сильно меняет ее каждый укол. Отец и вовсе отстранился. Все кончилось тем, что Флаффи, которая в те дни спала вместе с Мэйв, однажды посреди ночи снова отвезла ее в больницу. Ее снова стабилизировали, снова отправили домой. Мэйв плакала, рыдала, пока отец не заходил к ней в комнату и не просил успокоиться. Все они стали персонажами худшей сказки из возможных. Отец выглядел столетним стариком. «Хватит, — говорил он так, словно его язык не слушался. — Перестань».

И в конце концов она перестала.